ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ

Надточий В. Д.

ЧЁРНАЯ ОПИСЬ



18+

Владислав Надточий

Государевы люди. Чёрная опись

«Автор»
2026

Надточий В. Д.

Государевы люди. Чёрная опись / В. Д. Надточий — «Автор», 2026

В этом деле опаснее всего не убийцы. Опаснее — узнать, ради чего они убивали.Россия, 1918 год. Среди хаоса революции исчезает груз, за которым охотятся люди, готовые уничтожить любого, кто приблизится к разгадке.На пути из Петрограда в Москву неизвестные захватывают вагон с секретными документами бывшего Департамента полиции. Охранники мертвы. Груз похищен. Единственная выжившая девушка помнит голос человека, руководившего налётом.Следователь Дмитрий Сыромятников берётся за дело, которое кажется обычным ограблением. Но почему преступники забрали только определённые ящики? Чьи имена скрывает старая опись? И почему за бумаги, которым больше десяти лет, продолжают убивать?Следы ведут в Петроград, где вчерашние враги становятся союзниками, а самые опасные люди умеют говорить тихо.Каждая найденная улика приближает Дмитрия к разгадке. И к человеку, который сделает всё, чтобы правда осталась похороненной.Некоторые тайны переживают революции. Но не своих свидетелей.

© Надточий В. Д., 2026
© Автор, 2026

Владислав Надточий
Государевы люди. Чёрная опись

ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
Надточий В. Д.
ЧЁРНАЯ ОПИСЬ
Пролог

Из архивного вагона исчезли восемь ящиков. Пятеро охранников погибли. Налётчики обыскали вагон, но девятнадцатилетнюю машинистку не нашли.

В марте 1918 года из Петрограда в Москву отправили сорок два ящика с делами бывшего Департамента полиции. За содержимое этих ящиков уже убивали. И готовы были убить снова, лишь бы никто не узнал, что в них записано.

Налётчики выбрали восемь ящиков по номерам на крышках. К остальным не притронулись.

Наутро в разгромленном вагоне нашли Ядвигу Цвирко. Она спряталась за штабелем ящиков и до рассвета прижимала к груди тетрадь с перечнем груза. Когда девушку вытащили, пальцы не сразу удалось разжать.

Саму перестрелку Ядвига почти не помнила. Перед глазами стояли лишь сапоги возле её укрытия, а в ушах звучал голос человека, который без запинки называл номера ящиков.

Он не повышал голоса, даже когда его переспрашивали. Вооружённые матросы повиновались беспрекословно.

Лица незнакомца Ядвига не видела. Имени не знала. Но голос не давал ей покоя: где-то она уже его слышала.

Лишь в больнице Ядвига поняла, какую ошибку допустили похитители. Они оставили в живых свидетельницу, которая могла узнать голос незнакомца. И не забрали опись с номерами похищенных ящиков.

В коридоре раздались шаги. Ядвига сунула тетрадь под подушку и натянула одеяло до подбородка. Шаги остановились у её палаты. Дверная ручка медленно повернулась.

Часть первая. Архивный вагон

Глава 1

Архивный вагон

В ночь на одиннадцатое марта 1918 года девятнадцатилетняя машинистка Ядвига Цвирко ехала из Петрограда в Москву. К утру ей предстояло узнать, сколько человеческих жизней могут стоить старые бумаги.

Бумаги уложили в сорок два сосновых ящика. Плотник Егорыч три дня сколачивал их в подвале на Фонтанке, не переставая ругаться: гвоздей нет, доски сырые, а платят керенками, на которые и махорки не купишь. Каждый ящик весил около пуда. На крышках химическим карандашом стояли номера: «Оп. 7, ящ. 1», «Оп. 7, ящ. 2» — и так до сорока двух. Ядзя подписывала их сама. У неё был самый ровный почерк в комиссии.

В ящиках лежали секретные агентурные дела бывшего Департамента полиции. Те, что не сгорели в феврале семнадцатого, когда толпа ворвалась в здание на Фонтанке, шестнадцать, и жгла во дворе всё, что попадалось под руку. Ядзе тогда было восемнадцать. Она стояла среди зевак на набережной, смотрела, как горят бумаги, и плакала, сама не зная почему. Позже дед объяснил ей: «Там горела правда, Ядзенька. Неважно, чья. Правда не бывает чужая».

Дед, Юзеф Цвирко, тридцать два года служил архивариусом в Департаменте. В девятьсот девятом он вышел на пенсию. Теперь они с внучкой ютились в одной комнате старой квартиры на Гороховой: остальные комнаты забрали при уплотнении. Ближе деда у Ядзи никого не было. Мать умерла родами. Отец, железнодорожный техник и сын Юзефа, утонул в Неве,

когда девочке исполнилось пять. Дед вырастил её, научил читать, писать, считать, молиться по-польски, печатать на машинке и отличать хорошую бумагу от плохой по хрусту.

В декабре семнадцатого, когда при Наркомате юстиции создали комиссию по разбору архивов бывшего Департамента полиции, деда позвали консультантом. Он едва ли не единственный в Петрограде помнил расположение старых дел. Ему было семьдесят шесть лет. Он согласился: «Если не я, они перепутают описи, и через десять лет никто ничего не найдёт». Ядзю он взял с собой машинисткой. Ей платили паёк: полфунта хлеба в день и селёдку по пятницам.

Теперь комиссия переезжала в Москву вслед за правительством. Правительство должно было отправиться этой ночью тайно, с товарной платформы за Николаевским вокзалом, хотя слухи об отъезде уже ползли по Петрограду. Ящики с агентурными делами погрузили в отдельный товарный вагон, прицепленный к поезду с имуществом Наркомата юстиции. Охранять груз поставили четверых красногвардейцев с Путиловского завода и латыша-пулемётчика. Вместе с ними ехала Ядзя: опись хранилась у неё, а в Москве ящики предстояло сдавать под расписку. Дед остался дома — больные ноги не позволяли ему отправиться в дорогу.

— Ядзенька, — сказал дед на вокзале, держа её за руку сухими, холодными пальцами. — Ты смотри. Ты по описи. Каждый ящик. Если чего не хватит, пиши в акте. Не бойся писать.

— Не буду бояться, дедушка.

— И молись. — Дед перекрестил её по-католически, слева направо. — Матка Боска тебя сохранит.

Она поцеловала его в небритую щёку и забралась в вагон.

* * *

В нетопленом вагоне пробирало до костей. Сосновые ящики громоздились вдоль стен в два ряда, почти до потолка. В узком проходе на соломе расположились красногвардейцы. Латыш-пулемётчик сидел у двери на ящике и молчал. Его звали Янис. С самого отправления он не произнёс ни слова. Остальные охранники были молодые, весёлые, в солдатских шинелях с красными бантами, с винтовками без штыков. Они курили махорку, пели «Смело, товарищи, в ногу» и наперебой рассказывали, как брали Зимний. Ядзя подозревала, что ни один из них там не был. И всё-таки слушала с интересом.

Ядзя устроилась у задней стенки на сложенном пальто, положила опись на колени и время от времени заглядывала в щель между досками.

За стенами вагона мело мокрым снегом. Поезд шёл медленно, задерживаясь на каждом разъезде. На станциях люди кричали, бегали вдоль состава, стучали в двери. В Чудове какие-то солдаты с мешками попытались забраться к ним. Янис молча развернул пулемёт стволом к двери, и солдаты отступили. В Бологом простояли два часа. Красногвардейцы сбегали за кипятком и принесли Ядзе кружку; она пила маленькими глотками, отогревая пальцы.

После Бологого она заснула.

Ей снился дед. Он сидел в архиве на Фонтанке, в старом своём кабинете на третьем этаже, где были стеллажи до потолка и лесенка на колёсиках, и перебирал папки, и что-то говорил ей по-польски, а она не могла разобрать слов. Потом папки начали падать. Одна за другой, с полок, на пол, и раскрывались, и из них сыпались листы, и листы были чистые, белые, без единой буквы. Дед смотрел на них и плакал. «Ядзенька, — говорил он, — они всё стёрли. Всё. Ничего не осталось».

Ядзя проснулась. Поезд стоял. Вокруг было непривычно тихо.

* * *

Паровоз не шипел, колёса не стучали. Красногвардейцы умолкли. Ядзя приподнялась и заглянула в щель между досками.

За насыпью темнели высокие ели. Ни станции, ни разъезда, ни путевой будки — только лес и снег.

— Чего стоим? — спросил кто-то из красногвардейцев сонным голосом.

— А чёрт его знает. Может, путь занесло.

— Тверь скоро?

— Вёрст двадцать.

Янис поднялся, взял пулемёт и подошёл к двери. Отодвинул засов, приоткрыл створку на ладонь и выглянул.

Проём заслоняла широкая спина Яниса в серой шинели. Он вдруг замер, потом обернулся. Лицо у него побелело.

— Матросы, — сказал он. Это были его первые слова за всю дорогу. Говорил он с сильным акцентом.

И тут же снаружи грохнуло.

* * *

Позже Ядзя вспоминала нападение обрывками. Одни мгновения врезались в память, от других не осталось и следа.

Вот Янис валится спиной на солому. Пулемёт падает ему на грудь. Он больше не шевелится.

Дверь вагона распахивается. На фоне заснеженных елей — люди в тёмных бушлатах и бескозырках. В руках винтовки и наганы, на поясах гранаты. Человек десять. Матросы.

Вот красногвардейцы вскакивают, хватаются за винтовки, и один, самый молодой, рыжий, тот, который громче всех рассказывал про Зимний, кричит: «Братцы, свои! Свои мы! Красная гвардия!» И матрос в дверях, огромный, усатый, с маузером, говорит: «Свои, говоришь? А ну, братишки, проверим, какие вы свои». И стреляет.

Вот она сама лежит за последним ящиком, вжавшись в стенку вагона, и не помнит, как оказалась в этой тесной щели. В руках у неё опись. Снаружи гремят выстрелы — один, второй, третий. Потом крик. И тишина.

Потом голоса.

— Чисто?

— Чисто, Гуляй. Пятеро. Латыш да четыре сопляка.

— Девка ещё была. Мне на Бологом сказали: при вагоне девка с бумагами.

— Девки нет. Может, сошла где.

— Ищи.

Ядзя затаила дыхание. По соломе шаркали сапоги. Кто-то пинал ящики, кто-то ругался. Сапоги прошли мимо неё. Совсем близко. Она видела их в щели между ящиком и полом: грубые, матросские, с подковками. Остановились, помедлили и пошли дальше.

— Нету, Гуляй.

— Ну и чёрт с ней. Убежала, значит. В лес. Замёрзнет. — Гуляй говорил сипло, почти весело. — Ну, братишки, грузи. Время.

— Чего грузить-то? Все?

— Не все. Он скажет, какие.

Тут Ядзя услышала другой голос.

Голос был тихий, ровный, с мягкими, округлыми интонациями. Ни матросский, ни мужицкий. Так говорили в архиве на Фонтанке: дед, старые делопроизводители, люди, привыкшие произносить каждое слово точно, будто записывали его в журнал.

— Опись семь, — сказал голос. — Ящики с одиннадцатого по шестнадцатый. И двадцать третий. И тридцать первый. Остальные не трогать.

— Чего они? Одинаковые все.

— Номера на крышках. Ищите. Пересчитайте каждый ящик.

Ядзя слышала, как матросы шарят по ящикам, светят фонарём, с руганью разбирают по слогам номера, сдвигают тяжёлые крышки. Один ящик упал и раскололся; на пол посыпались папки, и кто-то наступил на них сапогом.

— Осторожнее, — сказал тихий голос. — Это единицы хранения.

«Единицы хранения».

Ядзя лежала в тесной щели и думала: так не говорят матросы. Так не говорят красногвардейцы. Так не говорят ни анархисты, ни бандиты — кем бы они ни были. Так говорят только архивные. Дед так говорит. Рахиль Моисеевна так говорит. Старик Пётр Пахомыч из второго отделения так говорит. Единица хранения. Это то, что по описи. Это папка, дело, связка. Это то, что нельзя топтать сапогом.

Незнакомец знал архивное дело.

— Нашли, — сказал кто-то. — Одиннадцать, двенадцать, тринадцать... Вот двадцать третий. Тридцать первый где?

— Внизу посмотри. Под этим.

Ящик над Ядзей сдвинулся. В щель проник свет фонаря. Девушка зажмурилась и беззвучно зашевелила губами: «Матка Боска. Матка Боска Ченстоховска. Пресвятая Дева». Так её учил молиться дед — быстро, по-польски, не прерывая молитвы даже от страха.

Ящик над ней остановился. Луч фонаря задержался на её плече, скользнул по руке и по описи, которую она прижимала к себе. Ядзя не открывала глаз. Сейчас её увидят. Кто-нибудь непременно крикнет: вот она. И тогда...

— Вот он, тридцать первый, — сказал кто-то. — Рядом стоял.

Луч фонаря скользнул прочь. Ящик задвинули на место.

— Всё? — спросил огромный голос.

— Восемь ящиков, — сказал тихий голос. — Всё.

— Грузи, братишки. Сани у переезда.

Ядзя считала ящики по скрипу досок, пока их тащили к выходу. Один, второй, третий... Восемь. Снаружи хрустел снег, у переезда фыркали лошади.

Потом тихий голос сказал, уже у двери:

— Опись. Где опись? Должна быть опись при вагоне. У девки.

— Девки нет.

— Значит, у неё и опись. — Незнакомец помолчал. — Ничего. Без описи они не поймут, чего не хватает. Не сразу.

— А ежели девка живая?

Ответ последовал не сразу.

— Если живая, найдём. Она ведь не знает, что видела.

Шаги удалились. Дверь вагона осталась открытой. Ядзя так и лежала в своём укрытии, с описью в руках, не решаясь открыть глаза.

* * *

До рассвета Ядзя не решилась пошевелиться. Она слышала, как отъехали сани и стихли голоса. Через открытую дверь ветер гнал снег; он ложился на солому, ящики, неподвижные тела. Ноги онемели, пальцы почти не слушались. Но тетрадь она не выпускала.

Утром из Твери пришла дрезина: путейцы и двое милиционеров в солдатских шинелях, с красными повязками на рукавах. Они увидели распахнутый вагон, пятерых убитых, сдвинутые ящики и разбросанные папки. Машиниста и кочегара нашли живыми, связанными в тендере паровоза. В трёхстах шагах впереди поезда поперёк рельсов лежали брёвна.

Ядзю нашли последней. Один из милиционеров, пожилой, усатый, в треухе, пинал ногой разбросанные папки и увидел в щели между ящиком и стенкой руку. Белую, неподвижную. С тетрадкой, зажатой в пальцах.

Он принял её за мёртвую, наклонился — и рука шевельнулась.

— Господи, — сказал милиционер. — Девка. Живая.

Её вытащили. Стоять она не могла. Её положили на солому, укутали в шинели и дали глотнуть спирту из фляжки. Она закашлялась и открыла глаза.

— Сорок два, — сказала она.

— Чего, дочка?

— Сорок два ящика было. По описи. — Она подняла тетрадку, которую всё ещё держала. Пальцы у неё не разгибались. — Восемь взяли. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый. Двадцать третий. Тридцать первый. Вот здесь всё записано. Что в них было. Каждая единица хранения.

Милиционер недоумённо смотрел на неё.

— Ты, дочка, не волнуйся. Ты лежи. Ты кто будешь?

— Цвирко. Ядвига. Машинистка комиссии. — Она смотрела на него снизу вверх и видела его лицо, усатое, доброе, с красной повязкой. — Дядя. Там не матросы были. То есть матросы. Но один был не матрос.

— Как не матрос?

— Он сказал «единица хранения».

Милиционер посмотрел на второго милиционера. Второй пожал плечами.

— Бредит, — сказал он. — Замёрзла. Давай её на дрезину, в Тверь, в больницу.

Её подняли и понесли. Она не сопротивлялась, только крепче сжимала опись и смотрела в тяжёлое мартовское небо. Снег всё шёл.

«Единица хранения», — повторяла она про себя. Он знал номера ящиков. Знал, что при вагоне должна быть опись. И сказал: «Она не знает, что видела».

Она знала. Она слышала его голос. Она бы узнала его из тысячи.

Через два часа, уже в тверской больнице, когда Ядзю отогрели, напоили чаем и укрыли тремя одеялами, она вспомнила: этой же ночью в Москву ехало правительство. Ленин, наркомы. Их поезд прошёл впереди, примерно на два часа раньше, миновал тот же лес и тот же переезд — и никто его не остановил.

Потому что им нужно было не правительство, подумала Ядзя. Им нужны были восемь ящиков.

Она закрыла глаза и заснула. И во сне дед сидел в архиве и перебирал чистые листы.

Глава 2

Угрозыск

Пулемёт бил с тротуара у входа в банк Юнкера на Кузнецком мосту. Пули пробивали витрины и разбивали стёкла фонарей. Извозчики бросали вожжи, прохожие падали прямо в мартовскую грязь.

Дмитрий Сыромятников укрылся за афишной тумбой на углу Кузнецкого и Неглинной. Мокрая тумба холодила щёку. Шинель промокла от талого снега. Пули рвали афиши у него над головой.

— Сыромятников! — крикнули сзади. — Ты живой?

— Живой.

— Сколько их?

Дмитрий осторожно выглянул из-за тумбы. У пулемёта перед банком лежали двое. Один стрелял, второй подавал ленту. Третий, с маузером, стоял в дверях банка и следил за улицей. За стеклом мелькали тени: ещё трое, а может, четверо. У подъезда ждал серый открытый автомобиль с работающим мотором. За рулём сидел мальчишка в кожаной куртке.

— Шестеро. Может, семеро. И шофёр.

— Пулемёт какой?

— «Максим».

— Чёрт.

За углом укрылись четверо агентов уголовного розыска, два милиционера и красноармеец, которого они встретили по дороге. На восьмерых у них было три нагана, две винтовки, один браунинг и смит-вессон Дмитрия. А напротив — «максим» с полной лентой.

Нельзя было дать налётчикам уйти с добычей.

Его учили трое. Почтальон Лукин велел смотреть на руки. Ротмистр Ведерников — считать. Судебный следователь Оболенцев советовал сначала понять, чего хочет противник, а потом дать ему желаемое — только не там, где тот рассчитывает.

Чего хотят бандиты? Уйти с деньгами. Они рассчитывают, что сыщики не высунутся из укрытия, пока деньги не окажутся в автомобиле. А потом пулемёт прикроет отход.

— Гладилин, — сказал Дмитрий через плечо. — Видишь автомобиль?

— Вижу.

— Видишь шофёра?

— Мальчишка какой-то.

— Попадёшь из винтовки в переднее левое колесо? Отсюда.

Гладилин, бывший солдат, стрелок с германского фронта, прицелился, прежде чем ответить.

— Смогу.

— По моему знаку. Не раньше.

Дмитрий ждал. Пулемёт захлебнулся очередью, на миг умолк и снова заговорил. Пули рвали афишу с портретом Шаляпина и выбивали штукатурку из стены напротив. Из банка выскочили трое с мешками и бросились к автомобилю. Человек с маузером в дверях крикнул что-то пулемётчикам.

— Давай!

Гладилин выстрелил. Передняя левая шина лопнула; автомобиль перекосился. Мальчишка за рулём вскрикнул. Трое с мешками замерли посреди улицы, растерявшись.

Пулемёт умолк на мгновение. Стрелок обернулся к автомобилю.

Дмитрий поднялся из-за тумбы и дважды выстрелил из старого смит-вессона, доставшегося ему от вахмистра Кузьмы Лукича Панкратова. Панкратов учил его стоять твёрдо, держать тяжёлый револьвер обеими руками и спускать курок без рывка.

Пулемётчик упал на пулемёт. Подающий ленту поднял руки.

— Лежать! Уголовный розыск! Всем лежать!

* * *

Час спустя бандитов увезли в Бутырки, раненого пулемётчика — в больницу. Деньги вернули в банк; по Кузнецкому мосту снова поехали извозчики. Дмитрий уже курил, сидя на подоконнике в коридоре уголовного розыска в Малом Гнездниковском переулке.

Прежде здание принадлежало сыскной полиции. Здесь служили знаменитые сыщики, о которых писали в газетах. Теперь в нём разместился уголовный розыск при Московском совете. Внизу висела новая, красная вывеска с серпом и молотом, но коридоры и кабинеты остались прежними. Половину агентов составляли бывшие сыщики, которых в феврале семнадцатого выгнали, а год спустя позвали обратно, потому что ловить бандитов стало некому. Они ходили по коридорам в старых пиджаках, с часовыми цепочками на жилетах, курили папиросы «Ира» и поглядывали на новичков — рабочих с заводов, солдат с фронта, матросов. В их недоверии чувствовался опыт людей, уже убедившихся: власть меняется, а преступность остаётся.

Дмитрий не был ни старым сыщиком, ни новичком из революционных назначенцев.

Ему было двадцать восемь лет. Невысокий, сухощавый, с коротко остриженными тёмными волосами и серыми глазами, он смотрел на людей так, словно мысленно заносил каждое слово в протокол. Носил солдатскую шинель без погон и офицерскую фуражку без кокарды: другой одежды у него не было. Три года он прослужил писарем в канцелярии военно-полевого суда — сначала на Северо-Западном, затем на Западном фронте. Там он работал под началом

Оболенцева, который за это время успел побывать прапорщиком, подпоручиком и поручиком. Сам Дмитрий дослужился до прапорщика. После Нарочской операции, в шестнадцатом году, германский снаряд накрыл их канцелярию. Дмитрий вытащил из-под обломков сначала дела, потом самого Оболенцева. В январе восемнадцатого полк разошёлся по домам. Дмитрий тоже вернулся к гражданской жизни и приехал в Москву, на Плющиху, в комнату, где когда-то жил с матерью. Она умерла в шестнадцатом; на похороны он не успел. Теперь в комнате жила его тётка, сдававшая угол. Этот угол он и снял.

В феврале он пришёл в уголовный розыск. Его взяли сразу, когда узнали, что он умеет писать протоколы так, что суд их не выбрасывает. Таких было мало. Через месяц он уже вёл свои дела.

— Сыромятников!

По коридору шагал начальник уголовного розыска Ковров, бывший присяжный поверенный. Длинный, худой, в пенсне и с бородкой клинышком, он походил на Дон Кихота, переодетого в кожанку.

— Слушаю.

— Хорошая работа на Кузнецком. — Ковров остановился. — Колесо, говорят, ты придумал?

— Я.

— Хорошо. — Ковров снял пенсне и протёр его полой кожанки. — Слушай, тут такое дело. Тебя просит Наркомат юстиции.

— Кто?

— Следственная комиссия ревтрибунала. Товарищ Оболенцев. Ты его знаешь?

Дмитрий соскочил с подоконника.

— Знаю.

— Он сказал, что вы вместе служили. — Ковров надел пенсне. — Он звонил сегодня утром. Просит тебя. На одно дело. Под Тверью.

— Под Тверью?

— Налёт на поезд, сегодня ночью. — Ковров внимательно посмотрел на него. — Вагон с бумагами Наркомюста из Петрограда. Пятерых охранников убили, часть бумаг унесли. Товарищ Оболенцев говорит, что бумаги важные, секретные, из бывшего Департамента полиции, и тверская милиция с этим не справится. А ЧК ему почему-то не нравится, почему, он не сказал. Просил тебя.

Дмитрий замер.

Под Тверью. Ночной налёт на поезд. Бумаги из Департамента полиции.

— Когда ехать?

— Сейчас. Поезд в два. — Ковров протянул ему бумагу. — Мандат. Подписан мной и товарищем Оболенцевым. Командировка на десять дней. Если нужно больше, звони.

Дмитрий взял мандат. Прочёл. «Предъявитель сего, агент первого разряда Московского уголовного розыска тов. Сыромятников Д. С., командируется в г. Тверь для расследования...» Подписи. Печать.

— Иди, — сказал Ковров. — И вот что, Сыромятников. Товарищ Оболенцев просил передать: «Скажите ему, что опять почтовый вагон. Он поймёт». Я не понял. А ты понимаешь?

— Понимаю, — сказал Дмитрий.

* * *

До поезда оставалось полтора часа. Он зашёл на Плющиху, взял мешок, сменное бельё, хлеб, кусок сала, который выменял на рынке на табак. Вынул из кобуры смит-вессон и проверил барабан: два пустых гнезда после перестрелки на Кузнецком. Вставил два патрона. Патронов к нему осталось одиннадцать. Новые достать было почти невозможно: калибр старый, американский, патроны редкие. Он берёг каждый.

Тётка, Матрёна Савельевна, стояла в дверях и смотрела, как он собирается.

— Опять уезжаешь?

— В Тверь, тётя Мотя. На десять дней.

— В Тверь. — Она подумала. — Мать твоя из Твери. И отец. Ты там родился.

— Знаю.

— На могилу сходи. К отцу. На Смоленском. Он там лежит, у самой ограды, у берёзы. Никто к нему не ходит.

— Схожу.

Она ещё постояла в дверях — маленькая, сморщенная, в платке. Так похожая на мать, что у Дмитрия сжалось сердце.

— Митя. А ты не боишься? Там, говорят, стреляют.

— Здесь тоже стреляют, тётя Мотя.

— Здесь-то дома.

Он засмеялся, поцеловал её в щёку и вышел.

* * *

В переполненном вагоне третьего класса люди стояли в проходах, теснились по трое на полках а некоторые даже лежали на багажных сетках. Дмитрий устроился на полу у окна, подложив под себя мешок, и смотрел на заснеженные подмосковные дачи: заколоченные, с выбитыми стёклами. За дачами потянулись леса, редкие поля и опять леса.

Мысли возвращались к почтовому вагону.

Он не вспоминал о той истории уже несколько лет. На войне было не до прошлого. Но слова Коврова вернули ту ночь с такой ясностью, словно всё случилось вчера: девятнадцатое июня тысяча девятьсот девятого года, почтовый вагон Московского почтамта. Старый Лукин в очках, научивший его смотреть на руки. Серый пакет с пятью синими печатями. Люди в форме конвойных. «Господа». «Свети». Белые руки с длинными пальцами. Выстрелы. Лукин на полу, рядом — конвойные. А он, девятнадцатилетний, забился под лавку. Пакет исчез.

Потом ротмистр Ведерников. Высокий, усатый, в голубом мундире; взгляд — будто насквозь видит. Вахмистр Панкратов — широкий, кряжистый, с седым ёжиком волос; он держал Дмитрия за пояс на козлах пролётки, чтобы не упал. Молодой следователь Оболенцев, с родинкой у левого виска, позже взявший Дмитрия к себе письмоводителем. Полковник Глинский, старый, седой, который умер в Нижнем, в траве над Окой. Певица Лидия Карская, с кольцом на цепочке. Варнак. Семён Кривошеин. Актёр. Суфлёр.

Лёд у Петропавловки. Первый лёд. Панкратов на льду.

Почти девять лет прошло с той ночи. За эти годы были Варшава, война и революция. И вот снова: налёт на поезд под Тверью, ночью. Вагон с бумагами из Департамента полиции.

В совпадения он не верил. Ведерников и Оболенцев — тоже. «Скажите ему, что опять почтовый вагон».

В Клину поезд простоял два часа, в Завидове — ещё час. Наконец тронулся. Дмитрий смотрел на чёрные ели у насыпи и представлял другой лес, под Тверью. Прошлой ночью там остановили поезд. Восемь или десять человек в матросских бушлатах убили пятерых охранников и увезли бумаги.

Какие бумаги?

Он не знал. Оболенцев не объяснил, Ковров тоже ничего не ведал.

Но одно Дмитрий знал точно. Девять лет назад в почтовом вагоне под Тверью тоже перевозили бумаги из Департамента полиции — список из сорока двух человек. Секретные сотрудники, осведомители, провокаторы, внедрённые в партии, газеты и университеты. Из-за этого списка убили Лукина, конвойных, а позднее — ещё многих. Сам список в итоге вернули, но его могли успеть скопировать. В четырнадцатом году копию продали немцам в Варшаве, а Ведерников сжёг оставшиеся бумаги в печи.

А теперь бумаги из Департамента полиции везли из Петрограда в Москву. По той же дороге, мимо той же Твери. И снова перехватили.

Кому они понадобились теперь? Департамента полиции больше не существовало, как не было ни охранки, ни царя, ни жандармов. Одни провокаторы были расстреляны, другие бежали, третьи затаились, надеясь, что о них больше не вспомнят.

А может, вовсе не затаились.

За окном вечерело. Над лесом поднималась луна, мутная, мартовская, в рыжем кольце.

К ночи поезд пришёл в Тверь.

* * *

На вокзале его встретил милиционер. Пожилой, усатый, в треухе, в солдатской шинели с красной повязкой на рукаве. В руке он держал листок с крупно выведенной фамилией: «Сыромятников». Дмитрий подошёл.

— Я Сыромятников.

Милиционер посмотрел на него с сомнением. Видимо, ожидал увидеть человека постарше.

— Из Москвы?

— Из Москвы. Вот мандат.

Милиционер прочёл мандат, шевеля губами. Потом сложил его и вернул.

— Пахомов я. Фёдор Ильич. Старший милиционер Затьмацкого участка. Это я её нашёл.

— Кого?

— Девку. — Пахомов вздохнул. — Машинистку. Живая осталась одна. В щели лежала, между ящиком и стенкой. Я её чуть ногой не пнул, думал, мёртвая. А она живая. Рука у неё шевельнулась.

Дмитрий всмотрелся в его лицо.

— Сколько ей лет?

— Девятнадцать, говорит. — Пахомов покачал головой. — Полька. Цвирко фамилия. Из Петрограда. Бредит она что-то, товарищ. Всё про какие-то единицы хранения. Мы её в больницу свезли, в губернскую. Доктор говорит, обморозилась, но отойдёт.

Девятнадцать, подумал Дмитрий. Единственная живая. Свидетельница.

Ему было девятнадцать, когда он лежал под лавкой почтового вагона.

— Ведите меня к ней, Фёдор Ильич, — сказал он. — Сейчас.

— Ночь ведь. Спит она.

— Разбудим.

Пахомов долго смотрел на него, словно решая, стоит ли спорить.

— Ладно, — сказал он. — Пошли.

Они пошли с вокзала пешком, по Тверской, к центру, к Волге, мимо тёмных купеческих особняков с выбитыми стёклами, мимо закрытых лавок, мимо собора, с которого ещё зимой сняли колокола — неизвестно кто и зачем. Город тонул во тьме: фонари не горели. Луна светила сквозь рыжее кольцо.

Дмитрий шёл по родному городу и не узнавал его. И думал о девушке в щели между ящиком и стенкой, которая ещё не понимает, чему стала свидетельницей.

Глава 3

Тверь

Губернская больница стояла на Миллионной, недалеко от Волги, в старом каменном здании с колоннами. Подходя к больнице, Дмитрий вспомнил дом Оболенцева — дальше по улице, в трёх кварталах отсюда. Там жила его няня, Пелагея Ивановна. Там Дмитрий провёл пять лет, с девятьсот девятого по четырнадцатый: служил письмоводителем, переписывал протоколы. Дом уцелел, но окна были тёмными. Пелагея Ивановна умерла в пятнадцатом, восьмидесяти восьми лет.

В больнице пахло карболкой и варёной капустой. Грузная, сонная дежурная сестра в несвежем халате сперва отказалась его пропустить. Увидев мандат, нехотя уступила дорогу. Женская палата находилась на втором этаже; на двенадцать коек приходилась одна лампа у двери.

Ядвига Цвирко не спала.

Она сидела на койке у окна, завернувшись в серое больничное одеяло и поджав ноги. На коленях лежала ученическая тетрадка в клеёнчатой обложке — потёртая, с загнутыми углами. Ядвига прижимала её к себе обеими руками.

Услышав шаги, девушка обернулась. Лицо было бледным; на щеках, носу и подбородке проступали красные пятна обморожения. Светлые, почти белые волосы были заплетены в косу. Большие серые глаза с воспалёнными веками смотрели на Дмитрия настороженно, но без страха.

— Вы из ЧК? — спросила она.

— Из уголовного розыска. Из Москвы. Сыромятников. — Он предъявил мандат. Ядвига внимательно прочла его от начала до конца и вернула.

— Меня уже допрашивали. Днём. Милиционер. Пахомов.

— Знаю. Но мне нужно услышать ваш рассказ.

— Он мне не поверил.

— Я вас выслушаю, — сказал Дмитрий. Он придвинул табуретку от соседней койки, где старуха спала, отвернувшись к стене, и сел. — Расскажите всё с самого начала. С Петрограда.

Она рассказала.

Он слушал, не перебивая, как учил Оболенцев: важно не только то, что человек говорит, но и на чём запинается, где торопится и к чему возвращается. Ядвига излагала события ровно и по порядку, словно сверялась с описью: Фонтанка, сорок два ящика, вагон, латыш Янис, красногвардейцы, Бологое, сон о деде, остановка в лесу, матросы, «братишки», выстрелы, щель между ящиком и стенкой.

Потом она снова заговорила о голосе.

— Повторите, — сказал Дмитрий. — Что он сказал. Слово в слово.

— «Опись семь. Ящики с одиннадцатого по шестнадцатый. И двадцать третий. И тридцать первый. Остальные не трогать». Потом: «Номера на крышках. Ищите». Когда ящик разбился, он сказал: «Осторожнее. Это единицы хранения». Потом подвёл итог: «Восемь ящиков. Всё». Уже у двери спросил: «Опись. Где опись? Должна быть опись при вагоне. У девки». А когда его спросили, что будет, если я жива, ответил: «Если живая, найдём. Она ведь не знает, что видела».

Она замолчала.

— Вы всё это запомнили? — спросил Дмитрий.

— Я хорошо запоминаю. — Ядвига пожала плечами под одеялом. — Дед говорит, это у меня от него. Он тридцать два года помнил, где лежит каждое дело. Даже без описи.

— Какой был голос?

Ядзя подумала.

— Тихий. Ровный. Сухой, — сказала она, подбирая слова. — Как у человека, который всю жизнь просидел в канцелярии. Как у старого архивиста. Он не кричал и не ругался, хотя остальные ругались. Говорил так, словно зачитывал протокол на заседании комиссии. — Она помолчала. — Он не матрос. Может, и был одет как матрос, но сам он не матрос.

— Сколько ему лет?

— Не знаю. Не молодой и не старый. Лет сорок? Пятьдесят?

— Акцент?

— Нет. Петербургский. Чистый. Как у образованного.

— Вы бы его узнали?

— Да, — сказала Ядзя. — Из тысячи.

Дмитрий кивнул. Девять лет назад ему задавали тот же вопрос. Ведерников спросил, сумеет ли он узнать человека. Дмитрий ответил: по рукам. В конце концов так и вышло.

— Теперь опись, — сказал он. — Что было в этих восьми ящиках?

Ядвига раскрыла тетрадку. Страницы были исписаны мелким, ровным, округлым почерком: номер за номером, с короткой записью напротив каждого.

— Опись семь, — пояснила она. — Агентурные дела секретных сотрудников, тех, кто служил охранке осведомителями. На каждого заведено отдельное дело: донесения, расписки в получении жалованья, переписка, иногда фотография. Дела обозначены кличками, расположенными по алфавиту. — Она перевернула страницу. — В ящиках с первого по десятый — клички на «А»—«Ж». С одиннадцатого по шестнадцатый — на «З»—«П». Двадцать третий — дела, заведённые Особым отделом в девятьсот шестом году. А тридцать первый — переписка о выплатах и расписки. Кто сколько получал.

— Сколько дел в этих восьми ящиках?

Ядзя пробежала пальцем по строкам тетрадки, подсчитывая записи.

— Сто шестьдесят четыре дела, — ответила Ядвига. — А в тридцать первом ящике переписка ещё о двухстах людях.

Дмитрий молчал.

Сто шестьдесят четыре человека. Они доносили на товарищей, получали по двадцать пять, пятьдесят, сто рублей в месяц и расписывались за деньги. Теперь их дела и расписки могли оказаться где угодно: в санях посреди тверских лесов, на складе, в Петрограде или Москве.

— Кто из них жив? — спросил он.

— Не знаю. — Ядвига закрыла тетрадку. — Комиссия только приступила к описи номер семь. Мы составили перечень дел, но ещё не изучали их. Рахиль Моисеевна, председатель комиссии, сказала, что разбирать их начнём в Москве, когда соберутся специалисты. Нужно установить настоящие фамилии. Потом списки опубликуют, как в семнадцатом публиковали имена провокаторов. — Она опустила глаза. — Тогда двое повесились: один в Москве, другой в Киеве. Люди уважаемые. Один профессор, второй — член Государственной думы.

— Значит, кто-то из этих ста шестидесяти четырёх знал, что их опубликуют.

— Значит, знал, — сказала Ядзя.

— И знал, в каких ящиках его дело.

— И знал, что должна быть опись. — Она посмотрела на него. — И что опись у меня.

Они замолчали. Старуха на соседней койке заворочалась и что-то пробормотала во сне.

— Ядвига… как вас по отчеству?

— Казимировна. Но меня все Ядзей зовут. Дед зовёт. И в комиссии.

— Ядзя. Вы понимаете, что он может прийти?

— Понимаю, — спокойно ответила Ядвига. — Весь день об этом думаю. Он сказал: если я жива, меня найдут. И найдут. В комиссии все знают моё имя, да и фамилия стоит в документах на груз.

— Я вас отвезу в Петроград. К деду. Как только доктор позволит.

— Доктор позволит завтра. — Она посмотрела на него внимательно. — А вы? Вы ведь из Москвы. Вам надо в Москву.

— Мне нужно туда, где он, — ответил Дмитрий. — Ящики похитили под Тверью, но заказ на их похищение отдали в Петрограде.

Ядзя нахмурилась, но расспрашивать не стала.

* * *

Утром Дмитрий отправился к месту нападения.

Пахомов предоставил ему старую пегую милицейскую лошадь и сани, а сам отправился вместе с ним. По Петербургскому шоссе они добрались до просёлка, свернули в лес и выехали к железной дороге. Снег был мокрым и тяжёлым. Лошадь шла медленно, глубоко проваливаясь в него. Пахомов курил махорку и не разговаривал.

Вагон стоял там, где произошло нападение. После налёта состав увели в Тверь, а вагон отцепили на разъезде в двух верстах отсюда. Позже губернская милиция распорядилась вернуть его — «для следствия». Он стоял у леса с распахнутой дверью, в которую задувал снег.

Мёртвых уже увезли. Ящики остались — тридцать четыре, как значилось в описи. Накануне Ядвига пересчитала их по памяти, сверяясь с номерами, которые Пахомов читал ей вслух. Не ошиблась ни разу.

Дмитрий обошёл вагон и направился вдоль насыпи к переезду, где стояли сани. Он шёл медленно, внимательно глядя под ноги.

После нападения снег выпадал ещё дважды, и следы почти исчезли. Но под ёлками, у самой насыпи, где сугробы были тоньше, Дмитрий всё же обнаружил отпечатки. Следов было много. Матросские сапоги с подковками на каблуках он узнал сразу: такие носили на флоте. Девять пар, возможно, десять. Следы вели от переезда к вагону и обратно. Глубокие, тяжёлые: люди несли ящики.

Рядом обнаружилась ещё одна пара следов. Десятая или одиннадцатая — совсем другая.

Узкие, длинные отпечатки ровной подошвы, без каблука. Не сапоги — резиновые калоши поверх городских ботинок. И это в лесу, среди глубокого снега.

След тянулся рядом с матросскими, но отдельно. Человек ступал осторожно, стараясь попадать в чужие отпечатки, чтобы не проваливаться. Он прошёл от переезда к вагону и обратно — один раз, налегке.

— Фёдор Ильич, — сказал Дмитрий. — Глядите.

Пахомов подошёл, посмотрел, поскрёб затылок под треухом.

— Калоши, — произнёс он. — Ишь ты. В лесу, в калошах. Барин, что ли?

— Барин, — согласился Дмитрий.

Дмитрий присел, разглядывая отпечатки. Девять лет назад он искал разгадку в руках подозреваемого. Ведерников замечал сапоги, Глинский — хлеб. Теперь уликой стали калоши.

Человек, знавший архив, пришёл к вагону в калошах. Значит, идти через лес он не собирался. И, вероятно, прибыл отдельно от матросов. Но откуда?

Дмитрий пошёл по следу в обратную сторону — не к вагону, а к дороге за переездом. Там отпечатки почти терялись в наезженной санной колее. Лишь на обочине, где полозья сворачивали, снова проступала узкая ровная подошва.

Через полверсты, у развилки, след обрывался. Здесь стояли другие сани — лёгкие, городские, с узкими полозьями, не похожие на широкие крестьянские. На снегу сохранились отпечатки полозьев и подкованных по-городскому копыт с шипами. Сани здесь останавливались, а затем направились в сторону Твери.

— Похоже, он приехал из Твери на городских санях, — сказал Дмитрий. — В калошах. Мог дождаться, пока матросы остановят поезд, подойти к вагону, указать, какие ящики брать, а затем вернуться сюда и уехать в город. Матросы же с грузом направились через лес в другую сторону.

— А в Твери что?

— В Твери вокзал, Фёдор Ильич. — Дмитрий посмотрел на дорогу, уходившую к городу. — Утренний поезд в Петроград отправляется в шесть сорок. Он мог успеть на него и к вечеру оказаться в Петрограде.

* * *

На обратном пути он попросил Пахомова заехать на Смоленское кладбище.

Кладбище располагалось за городом, на возвышенности, за земляным валом. Старое, с покосившимися крестами и часовней без купола. Снег лежал нетронутый, белый, глубокий. Дмитрий пробирался по нему по колено и искал нужное место. С четырнадцатого года он сюда не приезжал и теперь с трудом узнавал дорожки.

Могила нашлась у ограды, под берёзой. Почерневший деревянный крест покосился набок: «Савелий Сыромятников. Мещанин. 1851–1907». Дмитрий снял фуражку и остановился. В памяти возник отец: сидит в мастерской, шьёт сапоги. Говорит мало — чаще отвечает стуком молотка. Катаракта лишила его зрения; он умер, так и не дождавшись операции. Тридцать лет отец шил Лукину сапоги, по одной паре раз в два года.

Потом он пошёл дальше, вдоль ограды, к другим могилам. Их он помнил лучше.

Рядом стояли два каменных надгробия из серого гранита. На более высоком, увенчанном крестом, значилось: «Полковник Отдельного корпуса жандармов Сергей Андреевич Глинский. 1851–1909». На втором, пониже и скромнее, с небольшим выбитым крестом: «Вахмистр Кузьма Лукич Панкратов. 1855–1909. Награждён медалью „За усердие“ посмертно».

На камне Глинского кто-то гвоздём выцарапал слово: «Жандарм». На надгробии Панкратова не было ни одной надписи. Пожалуй, не каждый прохожий догадался бы, что и он служил в жандармерии.

Дмитрий долго стоял между могилами. Пахомов ждал у ворот, возле саней, и курил.

Панкратов научил его обращаться со смит-вессоном: держать револьвер обеими руками, широко расставив ноги, не дёргать спуск, а плавно нажимать. Накануне на Кузнецком мосту Дмитрий держал оружие именно так. И попал.

Он вспомнил, что последним словом Глинского была «сирень». Позже это слово стало знаком Варнака.

Ведерников был жив. В Петрограде, на Фурштатской. В ноябре прошлого года, после переворота, Дмитрий получил от него письмо на полстраницы: жив, здоров, уплотнён, служу сторожем, не беспокойся. В постскриптуме стояло: «Часы идут».

Дмитрий надел фуражку.

— Пойду я, Кузьма Лукич, — произнёс он. — Сергей Андреевич. Опять почтовый вагон. Опять бумаги. И снова под Тверью.

Камни молчали. Ветер шевелил ветви берёзы над отцовским крестом.

Он пошёл к воротам.

* * *

Вечером Дмитрий дозвонился Оболенцеву в Москву. Говорить пришлось с почтамта: междугородное соединение устроили через губернскую милицию.

— Андрей Иванович.

— Митя. — Голос Оболенцева звучал далеко, хрипло, с треском. — Ну что узнал?

— Восемь ящиков. Агентурные дела. Секретные сотрудники на «З» – «П». И расписки.

— Я знаю. Мне уже сообщили из комиссии. — Треск. — Митя. Ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю. Кто-то из них не хочет, чтобы его нашли.

— Не только. — В трубке потрескивало. Оболенцев помолчал. — Кто-то хочет скрыть собственное прошлое и одновременно разыскать остальных. Там ведь расписки, Митя. Двести человек. Сколько кому платили, кто где жил, кем стал. Тот, у кого эти бумаги, получает власть над всеми ними. А некоторые из этих двухсот теперь занимают очень высокие места.

— Где?

Оболенцев ответил не сразу.

— Повсюду, — произнёс Оболенцев. — В партиях, комиссариатах, Советах. Даже в ЧК.

Дмитрий стоял у аппарата и смотрел в окно, на тёмную Волгу.

— Андрей Иванович, среди налётчиков был человек в калошах. Не матрос. Он разбирался в архиве. По следам выходит, что он приехал из Твери на городских санях. А утром мог уехать поездом в Петроград.

— В Петроград. — Треск. — Значит, тебе надо в Петроград.

— Да.

— Езжай. Я предупрежу комиссию, чтобы Рахиль Моисеевна Гольдина тебя приняла. Она честный человек. — Оболенцев помолчал. — И ещё, Митя. Зайди на Фурштатскую.

— Зайду.

— Скажи ему... — Оболенцев осёкся. Когда заговорил снова, голос его изменился. — Скажи, что Вера ждёт ребёнка. В январе. Он хотел знать. Всё спрашивал, когда я наконец женюсь.

— Скажу, Андрей Иванович. Поздравляю.

— Береги девочку, свидетельницу. Ей ведь девятнадцать?

— Девятнадцать.

— Как тебе тогда.

— Как мне тогда.

Связь оборвалась. Дмитрий повесил трубку, но ещё долго не отходил от аппарата.

Завтра в шесть сорок они отправятся в Петроград. Рядом с ним будет девушка, которая ещё не знала, кому понадобились архивные дела, зато помнила каждое слово налётчиков.

Дмитрий вышел с почтамта. Над Тверью стояла луна — ясная, без рыжего кольца.

Глава 4

Фонтанка, 16

На Знаменской площади стояла непривычная тишина.

Дмитрий не приезжал сюда с девятого года. В декабре, после событий у Петропавловки, он уехал с Оболенцевым в Тверь хоронить Панкратова и больше не возвращался. Прежний Петербург сохранился в памяти шумным и нарядным даже зимой: извозчики, трамваи, яркие витрины, городовые на перекрёстках, дамы в мехах, гвардейские офицеры, запах кофе у Филиппова, колокольный звон. Ведерников ходил тогда пешком с Кирочной на Фурштатскую, дворники поливали мостовые, и над мокрым камнем поднимался пар.

Теперь даже на Невском почти исчез привычный уличный гомон.

— Здесь всегда так? — спросил Дмитрий.

— С зимы, — ответила Ядзя. На тонкое пальто она набросила его шинель, а под мышкой держала тетрадку. — Когда немцы пошли на Псков, все, кто мог, уехали. Теперь и правительство уехало. Говорят, город сдадут.

— Кому?

— Немцам. — Она пожала плечами. — Или не сдадут. Никто не знает.

На углу Литейного, возле бывшего банка, лежала мёртвая лошадь. Снег вокруг был истоптан; с боков лошади срезали мясо до самых рёбер. У Аничкова моста человек двести стояли в очереди к лавке без вывески: женщины, старики, дети. Никто не разговаривал. У самой Фонтанки двое мальчишек пытались выломать прут из чугунной садовой ограды.

— Вы здесь жили? — спросила Ядзя.

— Нет. Приезжал по делам. Давно.

— Когда?

— В декабре девятьсот девятого.

Ядзя посмотрела на него с любопытством.

— Дед ушёл на пенсию в девятом году, в декабре, и ему тогда дали награду. Он рассказывал, что ему помогли какие-то жандармы: он что-то для них сделал, а они потом заступились, когда его хотели выгнать без пенсии. — Ядзя на мгновение задумалась. — Он говорил про одного ротмистра, очень высокого, и про его вахмистра, который потом погиб.

Дмитрий остановился посреди тротуара.

— Ротмистр Ведерников, — сказал он.

— Да! — Ядзя широко раскрыла глаза. — Откуда вы знаете?

— Я его знаю, — сказал Дмитрий. — Я был с ними. В девятом году. Вахмистра звали Панкратов. Кузьма Лукич. Его убили на льду у Петропавловки.

Ядзя молчала. Они стояли посреди Невского, у Аничкова моста, и мимо спешили прохожие, не обращая на них внимания.

— Дед вспоминает их, — сказала она наконец тихо. — Каждый год, на Рождество. Говорит: те двое были честные. Он мало кого называет честным.

Они свернули к Фонтанке и пошли вдоль набережной к шестнадцатому дому.

* * *

Трёхэтажный казённый дом на Фонтанке, шестнадцать, выделялся жёлтым фасадом, колоннами у подъезда и чугунным балконом. Прежде здесь размещались Министерство внутренних дел и Департамент полиции. Сюда Ведерников ходил с докладами, сюда в девятом году был адресован серый пакет с пятью синими печатями: «С.-Петербург, Чёрная опись. В собственные руки». Здесь сидел вице-директор Штейнгель и писал резолюции синим карандашом, с петлёй на букве «д».

Теперь окна первого этажа были выбиты и заколочены фанерой. Над подъездом, на балконе, висел выцветший красный флаг. У подъезда стоял часовой, красноармеец в шинели до пят, и грел руки над костром, разведённым прямо на тротуаре, в железной бочке.

— Пропуск, — сказал он, увидев их.

Ядзя показала пропуск. Дмитрий показал мандат. Часовой долго разбирал мандат по слогам, потом махнул рукой.

Внутри было не теплее, чем на улице. Широкую мраморную лестницу ещё украшали медные прутья, которыми прежде крепили ковёр. Сам ковёр исчез. На стенах темнели прямоугольники от снятых портретов. На площадке второго этажа стоял бюст человека в мундире, с отбитым носом. В коридорах пахло мышами, сыростью, жжёной бумагой и махоркой.

Комиссия занимала бывшие архивные залы на третьем этаже. Ядзя уверенно вела Дмитрия по коридорам и лестницам. Дед приводил её сюда ещё ребёнком. Пока дед работал, девочка сидела на табуретке под стеллажами и рисовала на оборотах старых бланков. Дед уверял, что безопаснее места в империи нет: здесь обо всём сохранилась запись.

За последней дверью начинался большой зал.

Зал был длинный, в два света, с окнами на Фонтанку. От пола до потолка тянулись тёмные дубовые стеллажи с медными табличками; вдоль них катались лесенки на колёсиках. Посреди зала стояли сдвинутые столы, заваленные папками, связками бумаг и коробками. За столами работали около двенадцати человек — в пальто, шубах, платках, валенках и перчатках с обрезанными пальцами. Они читали, переписывали, сортировали дела. Изо ртов шёл пар.

У окна на высокой лесенке стоял сутулый старик в длинном чёрном пальто и шапке-пирожке. Седые пряди выбивались на воротник. Он снимал с верхней полки папку, раскрывал, просматривал и возвращал на место. На вошедших он не оглянулся.

Из-за стола у дальнего окна поднялась женщина.

— Ядзя! — Женщина торопливо пробралась между столами. — Ядзенька! Боже мой, живая! Нам сказали, что ты... — Она крепко обняла девушку, затем отстранилась, придерживая за плечи. — Как ты? Обморозилась? Покажи.

— Ничего, Рахиль Моисеевна. Пройдёт.

Женщине было около сорока. Невысокая, худая, смуглая, с коротко остриженными чёрными волосами, тронутыми сединой. За круглыми очками внимательно смотрели усталые тёмные глаза. На ней были мужское пальто, валенки и красный бант на лацкане.

— Товарищ Гольдина? — спросил Дмитрий.

Женщина повернулась к нему.

— Вы из Москвы? От товарища Оболенцева? — Она протянула руку и крепко пожала ладонь Дмитрия. — Рахиль Гольдина. Председатель комиссии. Он звонил вчера. Он сказал, что вы найдёте.

— Он так сказал?

— Он сказал: «Сыромятников найдёт, если найти можно. А если нельзя, найдёт всё равно». — Гольдина чуть улыбнулась. — Пойдёмте ко мне. Здесь холодно. У меня печка.

* * *

В маленьком кабинете рядом с залом топилась буржуйка. В топке догорали ножки стульев и резная дверца шкафа. На столе стоял чайник. Гольдина разлила по стаканам морковный чай без сахара.

— Расскажите мне про голос, — сказал Дмитрий.

Гольдина взглянула на Ядзю. Та снова рассказала всё, не пропустив ни слова. При словах «единицы хранения» лицо Гольдиной застыло.

— Это кто-то из наших, — тихо сказала Гольдина, не поднимая глаз от стакана. — Из комиссии или из тех, кто сюда приходит. Человек, которому известны и опись, и содержимое ящиков.

— Кто знал, что опись семь поедет в этом вагоне? Этой ночью?

— Все, — ответила Гольдина. — Двенадцать сотрудников комиссии, ещё пятеро в Наркомюсте. И, разумеется, в ЧК.

— В ЧК?

— Охрану нам назначали через ЧК, с Гороховой. В заявке было указано, что мы везём, сколько ящиков, в каком вагоне и каким поездом. — Гольдина сняла очки и вытерла их шарфом. — Я просила двадцать человек. Мне ответили, что людей нет: все на фронте или сопровождают правительство. Дали пятерых и один пулемёт.

— Кто подписывал?

— Член коллегии Петроградской ЧК. Товарищ Мещеряков.

— Кто он?

Гольдина ответила не сразу.

— Старый большевик, в партии с девятьсот третьего года. Сидел, был в ссылке, бежал, опять сидел, каторга. Освобождён в феврале семнадцатого. Уважаемый человек. — Она надела очки. — Очень уважаемый.

— Он бывает в комиссии?

— Бывает. Иногда. Он курирует нас от ЧК. Интересуется. Он говорит, что ему важно знать, кто из провокаторов ещё жив и где они. Для безопасности революции. — Гольдина посмотрела на Дмитрия. — Товарищ Сыромятников. Я ничего не утверждаю. Только отвечаю на ваши вопросы.

— Понимаю, почему вы так осторожны.

— Вы не понимаете. — Голос её стал жёстче. — Я в партии с девятьсот пятого. Два года сидела в Литовском замке, меня сдал провокатор. Его дело было в этом архиве, я своими руками нашла его в декабре. Он сейчас в Харькове, работает в Совнархозе. Я написала, и его взяли. Я знаю, что такое провокатор, и знаю, что они никуда не исчезли. Некоторые теперь занимают высокие должности и очень боятся разоблачения. Я не говорю, что товарищ Мещеряков... Я ничего не говорю. Но если вы спросите, кто, по-моему, мог знать, что брать, я назову вам двенадцать человек из комиссии, пятерых в Наркомюсте и двоих в ЧК. И ни про одного не смогу сказать наверняка, что это не он.

Дмитрий не перебивал.

— Кто в комиссии пользуется выражением «единица хранения»? — спросил он наконец.

Гольдина невесело усмехнулась.

— Все, — сказала Гольдина. — Это обычный архивный термин. И я так говорю, и Ядзя, и Шуберт, и Пётр Пахомыч.

— Кто такой старик Шуберт?

— Консультант, Ипполит Карлович, бывший актёр. — Гольдина кивнула на дверь, в сторону зала. — Тот, на лесенке, вы его видели. Он пришёл к нам в январе и сказал, что когда-то, ещё до девятьсот пятого, недолго служил писцом в канцелярии Департамента, а потом ушёл в театр, и кое-что помнит. Он оказался полезен: помнит устройство старых описей. И работает бесплатно, за паёк.

— Он был в Петрограде в ночь налёта?

— До одиннадцати вечера он сидел здесь над двенадцатой описью. Потом ушёл домой. — Гольдина пожала плечами. — Ему шестьдесят, и ходит он с трудом. Как бы он оказался под Тверью?

— Где были остальные сотрудники?

Гольдина задумалась.

— В ночь налёта до одиннадцати здесь, в зале, были пятеро: я, Шуберт, Пётр Пахомыч, Ларионов и Зильберштейн. Остальные ушли раньше; куда именно, я не знаю. — Она сцепила пальцы. — Товарищ Сыромятников, поезд с вагоном ушёл с Николаевского в девять вечера, а налёт был в пятом часу утра под Тверью. Чтобы оказаться там, надо было уехать раньше, днём, поездом или на автомобиле.

— Или поездом впереди, — сказал Дмитрий. — В девять вечера отправился не только ваш поезд. Правительство тоже выехало — несколькими составами, один за другим. Если сесть в любой из них...

Он замолчал. Гольдина пристально смотрела на него.

— В поезде правительства не было посторонних.

— В поезде правительства, — сказал Дмитрий, — была охрана. ЧК.

Гольдина замолчала. В буржуйке с треском лопнула обгоревшая дверца шкафа.

— Мне нужен список, — сказал Дмитрий. — Всех посвящённых. И сведения о том, где каждый находился в ночь на одиннадцатое. Я проверю сам.

— Я вам дам, — сказала Гольдина. — Но, товарищ Сыромятников. Если вы будете спрашивать про товарища Мещерякова, вас спросят, зачем. И тогда...

— Тогда я отвечу.

— Вы из Москвы, — сказала она, внимательно глядя на него, — и не знаете Петрограда. Здесь сейчас всё иначе: немцы в двух переходах, голод, каждую ночь стреляют. ЧК может взять кого угодно и когда угодно, и никто не потребует объяснений. Будьте осторожны.

— Постараюсь.

* * *

Дед Ядзи был дома.

Дед жил неподалёку от ЧК, на Гороховой, в двадцатом доме: четвёртый этаж, двор-колодец, бывшая детская в уплотнённой квартире. Ядзя бросилась вверх по чёрной лестнице. Дмитрий услышал хлопок двери, возглас по-польски — и её плач, громкий, совсем детский.

Дмитрий поднялся следом и остановился на пороге.

Комната была маленькая, тёмная, с одним окном во двор, заставленная книгами. Книги теснились на полках, лежали стопками на полу, подоконнике и стульях. На стене висело распятие, тёмное, деревянное, и под ним бумажная Матка Боска Ченстоховска с тёмным ликом. У печки, в кресле с высокой спинкой, сидел старик. Маленький, сухой, весь в морщинах, с белыми усами, с белой щетиной на щеках, в вязаной кофте поверх рубашки, в пледе на коленях. Ядзя стояла перед ним на коленях, уткнувшись лицом ему в колени, и плакала, а он гладил её по голове сухой, тонкой, дрожащей рукой и что-то говорил по-польски, тихо, нараспев, как говорят молитву.

Старик поднял глаза и посмотрел на Дмитрия.

Он долго вглядывался в гостя. Глаза у него были светлые, выцветшие, водянистые, но очень внимательные.

— Вы, — сказал он по-русски, с сильным акцентом. — Я вас помню.

Дмитрий снял фуражку и шагнул в комнату.

— Помните?

— Девятый год, декабрь. Вы приходили с ротмистром Ведерниковым. Молодой, в сюртуке. Стояли у двери — точь-в-точь как сейчас. Ротмистр просил найти рапорт подполковника Глинского за девятьсот четвёртый год. — Старик чуть улыбнулся. — Я нашёл.

— Вы нашли, — сказал Дмитрий.

— Вы смотрели на мои руки, — сказал старик. — Тогда. Я заметил. Вы всё время смотрели на руки.

— Меня так учили.

— Хорошо учили. — Старик снова погладил Ядзю по голове. — Ядзенька, встань, поставь чайник. У нас гость.

Ядзя встала, вытерла лицо рукавом и ушла на кухню. Цвирко не сводил глаз с Дмитрия.

— Она мне сейчас рассказала, — сказал он. — Про голос, про единицы хранения. Садитесь, пан. Вы ведь хотите спросить меня, что было в двадцать третьем ящике.

Дмитрий переставил стопку книг на пол и сел.

— Хочу.

— Двадцать третий ящик, — медленно сказал старик. — Особый отдел, девятьсот шестой год, сорок одно дело. Я помню каждое: сам подшивал. — Он закрыл глаза. — Эти дела лично вёл один человек, тогда заведующий Особым отделом, а потом вице-директор. Он никому их не давал, только мне, подшить, да и то не все. Одно дело он не дал даже мне, сказал: это я сам. И подшил его своими руками. Я видел, как он подшивал: плохо, криво, не умел.

— Какое дело?

Старик открыл глаза.

— На обложке была кличка. Только кличка, без фамилии. Звонарь.

Глава 5
Фурштатская, 40

Дом на Фурштатской, сорок, почти не изменился. Пятиэтажный, серый, с эркерами и лепными львиными мордами над окнами второго этажа, с аркой во двор. Ворота уже не запирались: одна створка висела на единственной петле. Во дворе, в снегу, стояла чья-то разобранная пролётка без колёс; из неё торчал самовар.

Квартира находилась на третьем этаже. Дмитрий бывал здесь в декабре 1909 года, перед отъездом в Тверь на похороны Панкратова. Тогда Ведерников молча завёл часы Глинского — впервые за полгода, — и они затикали в тишине пустой квартиры. Тогда все семь комнат принадлежали одному человеку.

Теперь на двери висели три звонка. Под каждым — бумажка с фамилией: «Кузьмины — 1 зв.», «гр. Сухова — 2 зв.», «Ведерников — 3 зв.».

Дмитрий позвонил три раза.

За дверью долго не отвечали. Наконец послышались шаркающие шаги, лязгнул засов. Дверь приоткрылась на цепочку; в щели показался серый, внимательный глаз под седой бровью.

Глаз несколько секунд пристально разглядывал гостя.

Потом цепочка упала, дверь распахнулась, и на пороге появился Ведерников. Высокий, худой, седой, в старой солдатской шинели, наброшенной поверх вязаного свитера, и в валенках. Усы коротко подстрижены. Лицо осунулось, кожа обтянула скулы и виски. Только глаза

остались прежними — те самые, что смотрели на девятнадцатилетнего почтальона в 1909 году так, будто видели насквозь.

— Митя, — сказал он.

— Григорий Петрович.

Они замерли на пороге. Дмитрий растерялся. Обнять? Пожать руку? Он никогда не обнимал Ведерникова. Тот был не из тех, кого обнимают.

Ведерников сам шагнул вперёд, крепко обнял его одной рукой и тут же отпустил.

— Входи, — сказал он. — Тихо. Кузьмины спят. У них ночная смена.

* * *

Комната Ведерникова была бывшим кабинетом Глинского. Самая маленькая в квартире, с одним окном во двор, печкой-голландкой, облицованной белым кафелем, и книжными шкафами вдоль стен. Шкафы пустовали: книги, должно быть, сожгли в печке. На одной полке у окна осталось несколько томов. Письменный стол — дубовый, тяжёлый, с зелёным сукном — стоял на прежнем месте. На нём были лампа без абажура, чернильница и стопка бумаги, исписанной мелким ровным почерком. Над столом висел портрет: полковник Глинский в голубом мундире, в пенсне, седой и строгий. Увеличенная фотография в простой деревянной рамке.

У стены стояла походная кровать, застеленная солдатским одеялом. На гвозде, укрытый простынёй, висел старый голубой полковничий мундир со снятыми погонами.

— Садись, — сказал Ведерников. — Чаю?

— Есть?

— Есть. Морковный. И два куска сахару. — Он улыбнулся одними глазами. — Берёг для гостя. Гостей не было с ноября.

Он растопил печку щепками от ящика письменного стола. Среди щепок блеснула медная ручка. Ведерников поставил на печку чайник, сел напротив Дмитрия на кровать и посмотрел на него.

— Ты возмужал, — сказал он.

— Мне двадцать восемь, Григорий Петрович.

— Знаю. Я считал. — Ведерников пригляделся к нему. — Ты в розыске?

— В уголовном. В Москве. С февраля.

— Хорошо. — Ведерников кивнул. — Правильно. Воров надо ловить при любой власти. Ты хороший сыщик, Митя. Всегда им был. Ещё на почте.

— Я был почтальоном, Григорий Петрович.

— Ты был сыщиком, который служил почтальоном. — Ведерников взял с печки чайник, налил кипятку в две кружки, бросил в каждую щепоть бурой сушёной моркови. Положил в одну два куска сахару и пододвинул её Дмитрию. — Пей.

Дмитрий пригубил чай. Горьковатый настой отдавал дымом. Сладость сахара перебивала горечь настоя.

— Как вы, Григорий Петрович?

— В феврале прошлого года меня взяла толпа. Пришли сюда человек двадцать — солдаты, рабочие, студенты. Кричали: «Жандарм!», вытащили меня во двор и хотели убить. Не убили: наш дворник, татарин Ахмет, встал в арке и сказал, что я хороший, что дал ему денег на свадьбу. — Ведерников усмехнулся. — Я и не помню, давал или нет. Может, и давал. Меня отвезли в Кресты. Просидел там три месяца. Потом комиссия Временного правительства, расследовавшая деятельность корпуса, допросила меня, ничего не нашла и отпустила.

— А потом?

— Потом был октябрь. — Ведерников не сводил глаз с печки. — Пришли уплотнять. Кузьмины — рабочие с Выборгской, муж, жена и четверо детей, — и Сухова, вдова матроса, с сыном. Хорошие люди. Мне оставили эту комнату. Я сам её выбрал: здесь всё его. — Он

кивнул на портрет. — Остальное разошлось. Мебель Кузьмины зимой сожгли. Я не возражал. Книги сжёг сам, кроме этих.

Дмитрий посмотрел на полку. Там стоял десяток книг: Гоголь, Пушкин, «История революционного движения в России», Евангелие и ещё одна, в красном сафьяне, без названия на корешке.

— Служу сторожем на складе Красного Креста, на Литейном, по ночам. Паёк третьей категории, хватает. А по ночам пишу.

— Что пишете?

Ведерников кивнул на стопку бумаги на столе.

— Записки. О девятом годе, о почтовом вагоне, о Варнаке. Обо всём. В девятом году один человек сказал мне в камере крепости: «Лет через десять, когда всё это начнёт падать, кто-нибудь спросит». Я потом повторил тебе эти слова. Помнишь?

— Помню. Вы сказали: «Ты, Митя, запомни всё. Как было. Лет через десять кто-нибудь спросит. Расскажи».

— Девять лет прошло, а никто так и не спросил. И я подумал: а если меня не будет, когда спросят? Или тебя? Надо записать. Пусть останется на бумаге. Бумага переживёт.

— Сколько написали?

— Страниц сто. — Ведерников посмотрел на стопку. — Будет двести. Если доживу.

Они помолчали. На печке шипел чайник. За стеной во сне заплакал один из детей Кузьминых; мать что-то зашептала, и ребёнок затих.

— Андрей Иванович женился, — сказал Дмитрий. — Вера Николаевна. Ждут ребёнка. В январе. Он просил передать.

Ведерников долго молчал. Потом сказал, глядя в печку:

— Хорошо. — И ещё раз, тише: — Хорошо.

Он достал из кармана свитера часы. Золотые, с двумя крышками. Открыл. Посмотрел на циферблат. Закрыл.

— Идут, — сказал он. — Каждый вечер завожу. В девять. Двенадцать оборотов.

— Я знаю. Вы писали.

— Я писал. — Ведерников спрятал часы. — Ну, Митя. Ты ведь не морковный чай пить приехал из Москвы. Рассказывай.

* * *

Дмитрий рассказал.

Ведерников слушал, как всегда: не перебивая, неподвижно, глядя в одну точку. Только изредка шевелились губы. Дмитрий знал: он считает. Пятеро убитых в вагоне. Восемь ящиков. Сто шестьдесят четыре дела. Двести расписок. Девять пар матросских сапог. Одна пара калош.

Когда Дмитрий дошёл до «единиц хранения», Ведерников поднял голову. А когда речь зашла о двадцать третьем ящике, о старике Цвирко и о деле, которое Штейнгель подшил собственноручно, да ещё и криво, Ведерников поднялся.

Он подошёл к окну и долго смотрел во двор, повернувшись к Дмитрию спиной.

— Звонарь, — сказал он.

— Вы знаете?

Ведерников не ответил сразу. Он по-прежнему стоял спиной к Дмитрию. Под солдатской шинелью напряглись худые плечи.

— Знаю, — сказал он наконец. — Не знаю кто, но знаю, что он был. — Ведерников повернулся. — В сентябре девятого года, когда меня отстранили и посадили под домашний арест, Штейнгель вызвал меня к себе, в этот самый дом, в кабинет вице-директора. Помнишь?

— Помню. Вы рассказывали.

— Я тебе не всё рассказывал. — Ведерников вернулся к кровати и сел. — Он тогда долго говорил. Любил поговорить. Сидел в кресле, курил сигару, пил коньяк и мне предлагал. Я

отказался. Он уверял, что я ничего не понимаю: ищу какого-то актёра, Варнака, а настоящая игра идёт совсем в другом месте. Говорил, что у него люди повсюду — в каждой партии, в каждом комитете, в каждой газете, — и он узнаёт, о чём думают революционеры, раньше, чем они сами это поймут. А потом произнёс фразу, которую я запомнил: «У меня, Григорий Петрович, есть один человек, который звонит в колокол. Когда я велю, он звонит, и все бегут туда, куда он укажет. А потом я беру их всех. Это мой Звонарь».

Дмитрий молчал.

— Я тогда подумал, что это фигура речи, — сказал Ведерников. — Он любил эффектные фразы. А теперь ты говоришь, что в двадцать третьем ящике было дело с кличкой «Звонарь». Которое Штейнгель подшил сам. Криво.

— Значит, это не фигура речи.

— Значит, у Штейнгеля был особо ценный агент, о котором он не рассказывал даже своим. Человек внутри какой-то партии, способный увлечь за собой людей, а потом выдать их. В 1906 году Особый отдел арестовывал сотнями: эсеров, эсдеков, анархистов, максималистов. Если у Штейнгеля был человек, который направлял их туда, куда требовалось...

— Тогда этот человек сейчас...

— Сейчас этот человек жив, — сказал Ведерников. — И боится. Штейнгель умер в Ницце, под своей сиренью, а архив остался. В архиве — его дело, подшитое криво. И какая-то комиссия во главе с честной женщиной собирается это дело прочесть. А потом опубликовать.

— Тогда он его украл.

— Тогда он украл его. И ещё сто шестьдесят три дела, чтобы никто не понял, за каким именно он пришёл. — Ведерников посмотрел на Дмитрия. — Хитро, Митя. Очень хитро. Возьми он один ящик — двадцать третий, — все сразу поняли бы, что ему нужно. А он забрал восемь. Теперь в комиссии будут думать, что искали кого-то из ста шестидесяти четырёх. Иголка в стоге сена.

— Но расписки, — сказал Дмитрий. — Тридцать первый ящик. Расписки ему зачем?

Ведерников помолчал, обдумывая ответ.

— А расписки, — медленно произнёс Ведерников, — нужны ему не для себя, а для других. Двести человек, получавших жалованье от охранки. Кто из них жив, где они, кем стали? Если он знает, кто из них теперь в Совнаркоме, наркоматах, Советах, армии, ЧК... Достаточно подать знак — и они побегут выполнять приказ. Иначе он их выдаст.

Разговор оборвался. В печке потрескивали дрова. Где-то далеко, за Таврическим садом, хлопнул выстрел. Потом ещё один.

— Каждую ночь стреляют, — сказал Ведерников. — Не обращай внимания.

— Григорий Петрович, председатель комиссии, Гольдина, сказала, что охрану вагона утвердил член коллегии Петроградской ЧК. Мещеряков. Пётр. Старый большевик, с 1903 года. Ссылка, побег, каторга.

Ведерников пристально посмотрел на Дмитрия.

— Ты думаешь...

— Я ничего не думаю, я считаю, — сказал Дмитрий. — Охрану выставили слабую: пятеро вместо двадцати. Мещеряков знал, какой вагон, какой поезд и какие ящики в нём находятся. В ночь налёта ЧК охраняла правительственный поезд. Он мог ехать в нём или в соседнем составе. Мог сойти в Твери, взять сани, добраться до переезда, указать матросам нужные ящики, вернуться в город и уехать утренним поездом в Петроград.

— Калоши, — сказал Ведерников.

— Калоши.

— Член коллегии ЧК в калошах. — Ведерников невесело усмехнулся. — Такое возможно. Теперь они все ходят в кожанках. Но под кожанкой у старого каторжника может быть что угодно. И привычка носить калоши тоже.

— Мне нужно знать, Звонарь ли он.

— Тебе нужно его дело.

— Дело украдено.

— Тогда тебе нужен кто-то, кто знает, что было в том деле. — Ведерников встал. — Цвирко?

— Цвирко сказал, что Штейнгель не дал ему это дело. Подшил сам. Цвирко видел только обложку.

— Тогда кто-то, кто знал Штейнгеля. Кто работал с ним. Кто знал его агентов.

— Кто?

Ведерников долго стоял у окна. Наконец, не оборачиваясь, произнёс:

— Есть один человек. Был, во всяком случае. Где он теперь, не знаю. В 1903–1904 годах он работал на Штейнгеля, знал его методы и людей. Может быть, знал и Звонаря. — Ведерников поднял глаза. — Ты его тоже знаешь, Митя.

Дмитрий понял не сразу — лишь спустя мгновение.

— Он мёртв, Григорий Петрович. С 1909 года. Камера номер семнадцать. Его объявили погибшим.

— Его объявили, — согласился Ведерников. — Ты помнишь, что я тебе сказал тогда? После того как объявили?

— Вы сказали: он жив.

— Я сказал: он жив. — Ведерников повернулся. — В 1914 году в Варшаве я получил от него три карточки: первый звонок, второй и третий. Третья пришла на пражском берегу, когда взорвали мост: «Спектакль окончен, публику просят покинуть зал». И ещё: «Не ищите меня. Меня найдут, я знаю, но не теперь и не здесь». Я тебе этих карточек не показывал. Ты был в Варшаве, но не видел их.

— Не видел.

— Вот они.

Ведерников подошёл к полке, взял книгу в красном сафьяне, без названия, открыл. Внутри, вместо страниц, было углубление, вырезанное бритвой, и в нём лежали три плотные белые карточки. Он вынул их и положил на стол перед Дмитрием.

Дмитрий смотрел на ровный круглый почерк без единой петли: «Первый звонок», «Второй звонок», «Третий звонок».

— Он сказал: меня найдут, но не теперь и не здесь. — Ведерников помолчал. — Прошло четыре года. Теперь и время другое, и место. Если он жив и находится в Петрограде, то придёт туда, где архив. Он всю жизнь мстил Штейнгелю. Штейнгель умер, но его архив остался. И дело Мити Кольцова, номер четыреста двенадцать. И дело Звонаря.

— Вы думаете, он в Петрограде?

— Я ничего не думаю, — сказал Ведерников. — Я считаю. Как ты.

Ведерников закрыл книгу и вернул её на полку.

— Ты где остановился?

— Нигде ещё.

— Оставайся здесь. Кровать одна, но я сплю днём, а ночью работаю на складе. — Ведерников снял с гвоздя шинель. — Мне пора, смена в десять. Ложись, утром поговорим.

— Григорий Петрович.

Ведерников остановился у двери.

— Девочка-свидетельница, Ядзя Цвирко. Он сказал: если она жива, найдём. Она у деда на Гороховой, и он её найдёт.

Ведерников нахмурился.

— Гороховая, двадцать, — повторил он. — Слишком близко к Гороховой, два. Завтра переведём её в другое место. Подумаю, куда.

Ведерников ушёл. Дмитрий ещё слышал, как по лестнице удаляются его тяжёлые, шаркающие шаги.

Он остался один в бывшем кабинете Глинского. Подошёл к столу и посмотрел на стопку бумаги. На верхнем листе мелким ровным почерком было написано:

«...и тогда Глинский сказал мне: „Лёд держит тех, кто не боится“. Эти слова я запомнил на всю жизнь. Случилось всё на Сунгари, в ноябре 1904 года, в ту ночь, когда убили полковника Мезенцова...»

Дмитрий не стал читать дальше. Эти строки предназначались не ему. Он лёг на походную кровать, не раздеваясь, укрылся шинелью и долго смотрел на портрет Глинского над столом, пока в печке не угас огонь.

Глава 6

Варшавский вокзал

Утром, сдав смену на складе, Ведерников отправился не домой, а на Варшавский вокзал.

Он шёл пешком через весь город: по Литейному, Невскому, Садовой, Вознесенскому, через Фонтанку и дальше по Измайловскому. Дорога заняла два часа. В валенках быстро не пойдёшь, особенно когда мысли заняты другим.

Ночью на складе, сидя в каморке у печки, с винтовкой без патронов на коленях, он думал о девочке. О девятнадцатилетней Ядвиге Цвирко, которая пряталась между ящиком и стеной и слушала чужой голос. О том, где её укрыть. В Петрограде не было места, где её нельзя было бы найти, если тот, кто ищет, сидит на Гороховой, два. Гороховая, два, знала всё. Домовые комитеты, дворники, соседи, управдомы. Каждый, кто хотел получить паёк, должен был быть записан. Каждый, кто был записан, мог быть найден.

И всё же оставались люди, чьих имён не было ни в одной доступной описи. Они жили так, словно их никогда не существовало.

Он знал одного такого человека.

Но сначала Варшавский вокзал. Ведерников прочёл вчера, в «Красной газете», которую Кузьмины оставили на кухне, маленькую заметку на третьей странице. Германская комиссия по делам военнопленных в Петрограде извещает лиц германского происхождения, проживающих в Петрограде и изъявивших желание принять германское подданство в соответствии с условиями Брестского мира, что очередной поезд с оптантами отправляется с Варшавского вокзала четырнадцатого марта в одиннадцать часов утра. Через Псков. В Ригу.

Он и сам не вполне понимал, зачем идёт на вокзал. Никого из отъезжающих он не знал. Почти никого.

Почти.

* * *

Варшавский вокзал был забит людьми. Внутрь едва удавалось протиснуться.

На площади, на ступенях, в зале и на перроне люди стояли, сидели, лежали. С чемоданами, с узлами, с корзинами, с сундуками, с детьми, с собаками, с клетками, в которых сидели канарейки. Немцы. Петербургские немцы, которых в городе было, говорят, сто тысяч до войны и которые жили здесь двести лет, с Петра. Булочники, аптекари, часовщики, инженеры, профессора, офицеры, чиновники, бароны. Теперь они уезжали. В Германию, в Ригу, в Ревель, куда угодно, где не было Гороховой, два.

У входа на перрон человек десять красногвардейцев с винтовками неторопливо проверяли у каждого бумаги. Открывали чемоданы, рылись в вещах и отбирали золото, серебро, драгоценности, деньги сверх установленного, документы, фотографии в рамках. Кто-то плакал, кто-то ругался по-немецки, кто-то молчал.

Ведерников укрылся за колонной и стал следить за очередью.

Через полчаса он заметил в очереди высокого, нескладного человека в поношенном пальто с бобровым воротником и котелке. Тот держал один кожаный чемодан, стоял прямо, не глядя по сторонам. Узкое бледное лицо, длинный нос, маленькие светлые усики.

И с белыми ресницами.

Ведерников не сводил с него глаз. Почти девять лет. Он помнил его в Нижнем Новгороде, в августе девятого года, над Окой, когда Глинский лежал в траве у амбара, и поручик Корф, адъютант Глинского, стоял над ним на коленях, и белые ресницы у него слиплись от слёз. Потом были похороны в Твери. Корф стоял у могилы, длинный, в мундире, и не плакал больше.

Потом Ведерников уехал в Варшаву. А Корф остался в Петербурге, в штабе корпуса, при новом начальнике.

Ведерников вышел из-за колонны и подошёл к очереди.

— Эрик Карлович.

Корф обернулся. Сначала не узнал седого, исхудавшего человека в солдатской шинели и валенках. Потом он покраснел до корней волос. Так было и девять лет назад. Пожалуй, Корф всегда краснел одинаково.

— Григорий Петрович. — Он сказал это тихо, почти шёпотом. — Боже мой. Вы живы.

— Жив. — Ведерников протянул руку. Корф не сразу ответил на рукопожатие. Его ладонь была холодной и влажной. — Уезжаете?

— Уезжаю. — Корф опустил глаза. — В Ригу, там сейчас немцы. И там мать. Отец умер в шестнадцатом. Имение... впрочем, имения больше нет. Есть дом в Митаве, и мать в нём одна.

— Понимаю.

— А вы? — Корф снова взглянул на него. — Вы не уезжаете?

— Мне некуда, Эрик Карлович. Я из Ярославля.

Корф кивнул. Очередь понемногу двигалась к красногвардейцам. Корф шагал вместе со всеми, Ведерников — рядом.

— Вы помните Харбин? — спросил вдруг Корф. — Девятьсот четвёртый?

— Помню.

— Я тогда был вольноопределяющимся, писарем при подполковнике, мне было девятнадцать. — Корф чуть улыбнулся. — Я занял у Шульца пять рублей на часы подполковнику. Помните часы?

— Они у меня, — сказал Ведерников.

Корф остановился. Теперь он не отрывал взгляда от Ведерникова.

— У вас?

— Сергей Андреевич отдал мне их в Нижнем перед смертью. — Ведерников вынул часы из кармана свитера, открыл крышку и показал Корфу надпись: «С. Г. от сослуживцев. Ляоян, 1904». — Я их каждый вечер завожу.

Корф долго разглядывал часы. Белые ресницы у него дрогнули.

— Мои пять рублей там тоже, — сказал он. — Где-то. В золоте.

— Там, — подтвердил Ведерников и спрятал часы.

* * *

Наконец подошла их очередь. Красногвардеец, молодой, курносый, в шинели с красным бантом, протянул руку.

— Документы.

Корф протянул бумаги. Красногвардеец с трудом разобрал написанное и передал бумаги старшему — усатому, в кожаной куртке, с наганом на поясе. Тот пробежал их глазами и кивнул.

— Чемодан.

Корф раскрыл чемодан. Красногвардеец перебрал рубашки, бельё, костюм, бритвенный прибор, немецкие и русские книги — Гёте, Пушкина, Евангелие. На дне лежала фотография пожилой дамы в рамке.

— Рамка серебряная?

— Посеребрённая, — сказал Корф.

Красногвардеец повертел рамку, попробовал металл на зуб и вернул её.

— Карманы.

Корф вывернул карманы: бумажник, ключи, носовой платок и портсигар.

Портсигар был старый, плоский, серебряный, с гравировкой на крышке. Красногвардеец осмотрел портсигар и открыл крышку. Вместо папирос внутри лежала маленькая жестяная коробочка с разноцветным монпансье.

— Серебро, — сказал красногвардеец. — Не положено. Изымается.

— Это память, — сказал Корф ровным книжным голосом, как всегда. — Подарок моего начальника на день ангела, девять лет назад. Он умер.

— Не положено, гражданин. Серебро. — Красногвардеец вытряхнул коробочку с леденцами Корфу на ладонь, а портсигар сунул в мешок, где уже лежали чьи-то кольца, броши, часы и ложки. — Проходите.

Корф растерянно смотрел на леденцы в раскрытой ладони.

Ведерников видел гравировку на крышке, прежде чем портсигар исчез в мешке. «Эрику от С. Г.». Ровный, твёрдый, старомодный почерк гравёра.

— Товарищ, — сказал он усатому в кожанке. — Портсигар. Это действительно память. Человек, который его подарил, был мой друг. Он умер. Неужели...

Усатый окинул его взглядом — шинель, валенки, седые усы.

— А вы кто такой, гражданин?

Ведерников помедлил с ответом.

— Никто.

— Вот и идите, никто, — сказал усатый. — Не мешайте.

Корф уже стоял на перроне, за оцеплением, с чемоданом в одной руке и с леденцами в другой. Он искал Ведерникова взглядом поверх голов красногвардейцев. Ведерников прошёл к оцеплению. Встал у самой верёвки, натянутой между столбами.

— Простите, Эрик Карлович, — сказал он. — Ничего не вышло.

— Ничего, — сказал Корф. — Ничего, Григорий Петрович. — Он опустил взгляд на леденцы. — Я девять лет держал в нём монпансье, с того самого дня. Сергей Андреевич любил монпансье и всегда держал коробочку в столе. Я и подумал: буду держать в портсигаре. Он не курил, и я не курю. — Он ссыпал леденцы в карман. — Это ничего. Это просто серебро.

Паровоз на перроне дал гудок. Люди за оцеплением засуетились, потащили узлы к вагонам.

— Эрик Карлович, — сказал Ведерников быстро. — Один вопрос. Последний.

Корф поднял на него глаза.

— Вы служили при Глинском. С Харбина по девятый год. Вы знали Штейнгеля. Вы видели его. Вы, может быть, слышали, как он говорил.

Корф побледнел. Ведерников заметил это, но причины не понял.

— Я... видел его, — сказал Корф медленно. — Конечно. Он бывал. Он вызывал подполковника.

— Вы когда-нибудь слышали от него слово «Звонарь»?

Корф молчал.

Паровоз дал второй гудок. Люди бежали к вагонам. Красногвардейцы кричали, чтобы торопились. Корф замер у верёвки, сжимая ручку чемодана и глядя на Ведерникова. Белые ресницы у него не двигались.

— Слышал, — очень тихо сказал он наконец. — Один раз, в девятьсот седьмом. Он приезжал к подполковнику на Фурштатскую, я сидел в приёмной, а дверь была неплотно закрыта. Подполковник спросил его про какого-то политического, которого Штейнгель велел отпра-

вить на каторгу, хотя улик было мало. Подполковник возражал, говорил, что это беззаконие. А Штейнгель засмеялся и сказал: «Сергей Андреевич, это не беззаконие, это биография. Моему звонарю нужна биография. Без каторги ему никто не поверит, а с каторгой поверят все. Пусть посидит, ему полезно. Потом я его вытащу, и он будет героем».

Ведерников остался неподвижен.

— Каторжник, — сказал он. — Политический. Отправленный на каторгу самим Штейнгелем. Для биографии.

— Да.

— Фамилию вы слышали?

— Нет. — Корф покачал головой. — Только это: звонарь, биография, каторга. Подполковник потом три дня ни с кем не разговаривал.

Раздался третий гудок. Состав дёрнулся.

— Эрик Карлович, — сказал Ведерников. — Спасибо.

— Не за что, — сказал Корф. И повторил, тише, тем же голосом, каким сказал это когда-то в Харбине, на паперти деревянной церкви, на Пристани: — Поверьте. Не за что.

Он повернулся и зашагал к вагону — длинный, нескладный, с чемоданом в руке. Поднялся на площадку. Обернулся. Поезд уже шёл.

Ведерников стоял у верёвки. Корф, держась за поручень, оглянулся с вагонной площадки. Ведерников успел увидеть его лицо под полями котелка.

Последний вагон скрылся за поворотом.

Ведерников постоял ещё. Потом повернулся и пошёл прочь с вокзала. Он не знал ещё, что видит барона Эрика Корфа в последний раз. Он не знал, что через двадцать пять лет, на войне, о которой в восемнадцатом году никто ещё не думал, этот человек будет носить чужую форму и называть свою операцию «Флидер». Он не знал, почему Корф побледнел, когда он спросил про Штейнгеля.

Он думал о Звонаре — человеке, которому понадобилась выдуманная биография. Которого Штейнгель сам отправил на каторгу, чтобы ему поверили. И которому поверили все.

В партии с девятьсот третьего года, ссылка, побег, опять сидел, каторга, освобождён в феврале семнадцатого. Уважаемый человек. Очень уважаемый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.